Да здравствует фикус!

Автор:
Джордж Оруэлл

Да здравствует фикус!

Джордж Оруэлл

Разве деньги -это не величайшее изобретение человечества? Судите сами. Во-первых, деньги – это универсальная единица измерения для каждого достижения, причем применена она может быть не только к материальным, но и духовным величинам. Во-вторых, деньги – это финансовая независимость и власть. Разве мы не стремимся к ней всеми силами? Ну и в-третьих, деньги – это иерархическая лестница, при их помощи мы можем достигнуть вершины или упасть вниз. А что произойдет, если мы объявим деньгам войну? Главный герой романа «Да здравствует фикус!» решил испытать это на себе. Отказавшись от денег, статуса и прочих материальных благ. Как долго сможет продержаться он без копейки в современном мире и что из этого выйдет – узнаете из новой аудиоверсии книги Джорджа Оруэлла.

Джордж Оруэлл

Да здравствует фикус!

«Keep the Aspidistra Flying»

© перевод Вера Домитеева

© ИП Воробьев В.А.

© ИД СОЮЗ

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а денег не имею, то я – медь звенящая, или кимвал бренчащий.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею денег – то я ничто.

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а денег не имею, нет мне в том никакой пользы.

Деньги терпеливы и милосердны, деньги не завидуют, деньги не превозносятся, не гордятся; не бесчинствуют, не ищут своего, не мыслят зла; не радуются неправде, а сорадуются истине; все покрывают, всему верят, на все надеются, все переносят /…/

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, деньги. Но деньги из них больше.

(Адаптировано)[1 - Оруэлл саркастически переиначивает гл. 13 Первого послания к Коринфянам, заменяя в тексте слово «любовь» на слово «деньги». – Здесь и далее примеч. пер.]

1

Часы пробили половину третьего. В задней служебной комнатушке «Книжного магазина Маккечни» Гордон – Гордон Комсток, последний отпрыск рода Комстоков, двадцати девяти лет и уже изрядно потрепанный, – навалясь на стол, щелчками большого пальца открывал и захлопывал пачку дешевых сигарет «Цирк».

Слегка нарушив уличную тишь, еще раз прозвонили часы – с фасада «Принца Уэльского» напротив. Гордон заставил себя наконец сесть прямо и сунул пачку поглубже во внутренний карман. Смертельно хотелось закурить. Увы, только четыре сигареты, среда и денег ждать до пятницы. Слишком хреново изнывать без табака и вечером, и весь день завтра. Уже страдая завтрашней тоской по куреву, он встал и пошел к двери – щупленький, миниатюрный, очень нервный. Средней пуговицы на пиджаке недоставало, правый локоть протерся, мятые брюки обвисли и замызгались, да и подметки, как пить дать, вконец сносились.

В кармане, когда он вставал, звякнула мелочь. Точно было известно, сколько там – пять с половиной: два пенса, полпенни и «везунчик». Замедлив шаг, Гордон достал проклятый рождественский трехпенсовик. Вот идиот! И как это позволил всучить себе дурацкую медяшку? Вчера, когда покупал сигареты. «Не возражаете против «везунчика», сэр?» – пропищала стервоза продавщица. И уж конечно, он не возразил: «Да-да, пожалуйста». Кретин, придурок!

Тошно, если в наличии всего пяток пенсов, три из которых даже не истратить. Как ты заплатишь этой ерундой для пирога? Не деньги, а разоблачение. Таким болваном достаешь «везунчик» не в россыпи других монет. Говоришь: «Сколько?» – и тебе чирикают: «Три пенса». И, порывшись по карманам, выуживаешь, будто в пуговки играешь, на конце пальца эту жалкую нелепость. Девчонка фыркает – мгновенно понимает, что у тебя больше ни пенни, и быстро шарит глазом по монете, не налип ли ошметок теста. И ты, задрав нос, выплываешь из лавки и никогда уже не смеешь переступить ее порог. Нет! «Везунчик» не в счет. Два с половиной, два пенса да полпенни до пятницы.

Тянулся час послеобеденной пустыни, когда клиенты заглядывали в магазин редко или вовсе не появлялись. Когда он одиноко бродил тут среди тысяч книг. Смежную со служебной, темную, пропахшую старой бумагой комнатенку сплошь заполняли книги из разряда ветхих и неходовых. Фолианты устаревших энциклопедий покоились наверху штабелями, как ярусы гробов в общих могилах. Гордон отдернул пыльную синюю штору перед следующим, получше освещенным, помещением – библиотекой. Типичная «два пенни без залога», магнит для книжного ворья. Разумеется, одни романы. И какие! Хотя, конечно, кому что.

С трех сторон от пола до потолка полки романов, разноцветные корешки рядами вертикальной кирпичной кладки. По алфавиту: Арлен, Берроуз, Гиббс, Голсуорси,

Дипинг, Пристли, Сэппер, Уолпол, Франкау… Гордон скользнул глазами с вялым отвращением. Сейчас ему были противны книги вообще и более всего романы – жуть, брикеты вязкой недопеченной дряни. Пудинги, пудинги с нутряным салом. Стены из сотен тошнотворных кирпичей, упрятан и замурован в склепе из пудингов. Гнетущий образ. Сквозь открытый проем он двинулся в торговый зал, на ходу быстро поправив волосы (привычный жест – вдруг за наружной стеклянной дверью барышни?). Внешность Гордона не впечатляла. Рост всего метр семьдесят, и голова из-за чрезмерно пышной шевелюры кажется великоватой. Ощущение малорослости вечно держало начеку. Под посторонним взглядом он вытягивался, браво выпятив грудь, с видом надменного презрения, порой обманывавшим простаков.

Снаружи, однако, никого не было. В отличие от прочих помещений торговый зал, предлагавший тысячи две изданий, не считая теснившихся в витрине, выглядел нарядно и респектабельно. У входа красовалась выставка книжек для детей. Стараясь не зацепить взглядом мерзейшую суперобложку с имитацией изощренного стиля 1900-х (проказники эльфы резвятся в чаще узорчатых травинок), Гордон уставился на пейзаж в дверном окне. Пасмурно, ветер все сильней, небо свинцовое, булыжник покрыт слякотью. Тридцатое ноября, денек святого Эндрю. Угловой книжный магазин стоял на перекрестке, перед неким подобием площади. Слева виднелся могучий вяз, дерево совсем облетело, ветки прочерчены острой графической штриховкой. На другой стороне, около паба «Принц Уэльский», громоздились щиты с рекламами патентованных яств и снадобий. Галерея кукольно-розовых страшилищ, излучавших дебильный оптимизм: ЭКСПРЕСС-СОУС, ГОТОВЫЙ ХРУСТЯЩИЙ ЗАВТРАК («Детишки утром требуют хрустяшек!»), АВСТРАЛИЙСКОЕ БОРДО, ШОКОЛАДНЫЙ «ВИТОЛАТ», ПОРОШКОВЫЙ СУПЕРБУЛЬОН («Вот кто действительно вкушает наслаждение!»). «Супербульон» терзал особенно свирепо, демонстрируя благонравного крысенка с прилизанным пробором и улыбочкой над тарелкой бурой жижи.

Гордон отвел взгляд, сфокусировав его на мутноватом дверном стекле, глаза в глаза с собственным отражением. Неказист. Тридцати нет, а весь вылинял. Кожа серая, и морщины уже врезались. Из «симпатичного» один высокий лоб; лоб-то высок, зато маловат острый подбородок, так что лицо какой-то грушей перевернутой. Волосы тусклые, лохматые, губы кисло кривятся, глаза то ли карие, то ли в зелень. Он снова устремил взгляд вдаль; зеркала в последнее время страшно раздражали. На улице было по-зимнему угрюмо. Охрипшим стальным лебедем плыл по рельсам скрежещущий трамвай, вслед ему ветром мело клочья листьев. Прутья вяза мотались, изгибаясь на восток. Надорванный угол плаката, воспевавшего «экспресс-соус», отклеился и судорожно трепетал

длинной бумажной ленточкой. Шеренгу голых тополей в переулке справа тоже завихрило, резко пригнуло. Гнусный сырой ветер. Чем-то жестоким повеяло, первым рычанием лютых холодов. Две строчки начали пробиваться в сознании Гордона:

Лютый ветер-налетчик… нет. Налетчиком лютым (зловещим? свирепым?), неумолимым. Ну? Строй нагих тополей пригибает… деликатный какой – «пригибает». Резче, резче!

Налетчиком лютым, неумолимым

Тополя нагие гнет, хлещет ветер.

Нормально. С рифмой на «ветер» одуреешь, но уж сто вариантов было после Чосера, найдешь как-нибудь и сто первый. Однако творческий порыв угас. Рука перебирала монеты в глубине кармана: два пенса, полпенни и «везунчик». Мозги заволокло, иссякли силы на рифмы и эпитеты; очень тупеешь с капиталом в пару пенсов.

Глаза опять вперились в лучезарных рекламных пупсов, личных его врагов. Машинально он перечитывал слоганы: «Австралийское бордо – вино британцев!», «Ее уже не душит астма!», «Экспресс-соус подарит радость муженьку!», «С плиткой «Витолата» бодрость на целый день!», «Наши трубки не гаснут под дождем!», «Детишки утром требуют хрустяшек!», «Вот кто действительно вкушает наслаждение!»…

Эге, вроде наметился клиент (стоя у входа, можно было наискось через витрину незаметно наблюдать подходивших). Возможный покупатель – немолодой господин в черном костюме и котелке, с зонтиком и портфелем; тип стряпчего из провинции – круглыми водянистыми глазами рыскал по обложкам. Гордон проследил направление его поисков. Вон оно что! Господин разнюхал в углу первое издание Д. Лоуренса. Слышал, видимо, краем уха насчет «Леди Чаттерлей», жаждет клубнички. И физиономия-то порочная: бледная, рыхлая, оплывшая. На вид валлиец, так или иначе, набожный протестант. Рот поджат зачерствевшей сектантской складкой. У себя там президент какой-нибудь Приморской Лиги Нравственной Чистоты (резиновые тапки и фонарик для выявления парочек на пляже), а сюда приехал покутить. Хоть бы вошел, подсунуть ему «Женскую любовь» Лоуренса – то-то бы разочаровался!

Увы, струхнул валлийский стряпчий, зонт под мышку и праведно потопал прочь. Зато уж вечерком, когда стемнеет, стыдливо прокрадется в подходящую лавочку прикупить себе «Забавы за стенами аббатства» Сэди Блэкис.

Гордон повернулся к полкам. Напротив входа шикарной радужной мозаикой (приманкой через дверное стекло) сверкали издания новые и почти новые. Глянцевые корешки, казалось, изнывали в томлении, умоляя: «Купи, купи меня!» Романы свежайшие, только из типографии – невесты, вожделеющие потерять невинность неразрезанных страниц. И экземпляры, побывавшие в руках, – юные вдовушки, хоть и не девственные, но еще в цвету. И наборами по полдюжины всякая всячина из так называемых «остатков» – престарелых девиц, продолжающих уповать в безнадежно затянувшемся целомудрии. Гордон поспешно перевел глаза, по сердцу, как всегда, полоснуло: единственная его книжонка, которую он за свой счет издал два года тому назад, была распродана в количестве ста пятидесяти трех экземпляров, после чего пополнила «остатки» и даже так ни разу более не покупалась. От парадных стеллажей он развернулся к стоявшим поперек полкам с явно подержанным товаром. Отдельно поэзия, отдельно самая разнообразная проза, выставленные по особой вертикальной шкале, когда на уровне глаз шеренги изданий поновей, подороже, а чем выше или чем ниже, тем дряхлей и дешевле. В книжных лавках отчетливо торжествует дарвинизм; жестокий естественный отбор предоставляет сочинениям ныне живущих место перед глазами, тогда как творения мертвых, низвергнуты они либо вознесены, неуклонно вытесняются из поля зрения. На нижних полках величаво тлела «классика», вымершие гиганты викторианской эры: Скотт, Карлейль, Мередит, Рескин, Патер, Стивенсон; имена на переплете пухлых томов едва читались. Под самым потолком, куда и не заглянешь, дремали биографии королевских кузенов. Чуть ниже имеющая некий спрос и потому довольно различимая «религиозная» литература. Все секты, все вероучения без разбора: «Потусторонний мир» автора под псевдонимом Испытавший Касание Духа, «Иисус как первый филантроп» декана Фаррера, католический трактат патера Честнута – религия предусмотрительна насчет разного покупательского вкуса. А прямо перед глазами опусы современности. Последний сборник Пристли, нарядные томики переизданий всяких середнячков, бодренький «юмор» производства Герберта, Нокса и Милна. Втиснут и кое-кто из умников; пара романов Хемингуэя и Виржинии Вульф. Ну и конечно, шикарные, якобы вольномысленные, а на самом деле до предела отцеженные монографии. Пресная тягомотина об утвержденных живописцах и поэтах из-под пера этих сонно-кичливых молодчиков, что так плавно скользят из Итона в Кембридж, из Кембриджа в литературные редакции.

Мрачно обозревая стену книг, он все тут ненавидел: продукцию классиков и модернистов, умников и пошлых болванов, остряков и тупиц. Один вид бесконечной книжной массы напоминал о собственном бесплодии. Стоишь здесь, вроде бы тоже «писатель», а «писать»-то не выходит. Чего там опубликоваться – сотворить ничего не можешь, почти ничего. Любая чушь на стеллажах по крайней мере существует, как-никак сляпана, даже дипинги и дэллы ежегодно выдают на-гора килограммы своей писанины. Но гаже всех издания «по культуре», ленивая жвачка сытых кембриджских скотов, именно тот жанр критики или эссе, где сам Гордон мог бы работать, будь он побогаче. Деньги и культура! В такой стране, как Англия, «культурный мир» для бедняка не более доступен, чем Клуб кавалергардов. С инстинктом, побуждающим шатать ноющий зуб, он вытащил увесистый кирпич – «Некоторые аспекты итальянского барокко», открыл, прочел абзац и, содрогнувшись от омерзения и зависти, пихнул книгу обратно. Что за всезнайство! Что за гнусный менторский тон! И сколько стоит достичь столь изящной учености? В конце концов, на чем все это основано, если не на деньгах? Дорогая порядочная школа, среда влиятельных друзей, досуг, покой высоких размышлений, поездки по Италии. Деньгами книги и пишутся, и выпускаются, и продаются. Господи, не надо благодати – лучше подкинь деньжат, Отец небесный!

Он позвякал монетами в кармане. Скоро тридцать, и ничего не сделано; один тощий, как блинчик, сборник стихов. И уже два года блужданий в лабиринтах задуманной большой поэмы, которая нисколько не продвигается и, как порой становится ясно, никогда и не продвинется. Нет денег, просто-напросто нет денег, твердил Гордон привычное заклинание. Все из-за денег, все! Напишешь тут хоть стишок, когда колотит из-за пустого кошелька! Мысль, вдохновение, энергия, стиль, обаяние – все требует оплаты наличными.

Тем не менее обозрение полок принесло и некое утешение. Столько писаний намертво потухших, убранных с глаз долой. У всех нас одна судьба. Memento mori. И тебе, и мне, и чванным молодчикам из Кембриджа забвение (хотя для этих подлецов финиш чуть отодвинут). Взгляд упал на сваленные вниз объемистые труды «классиков» – мертвечина. Карлейль и Рескин, Мередит и Стивенсон – все, к чертям собачьим, покойники. Что здесь почти стертым тиснением? «Собрание писем Роберта Льюиса Стивенсона»? Ха-ха! Славно! Великое наследие черно от пыли. Из праха сотворено и в прах же обратится. Гордон пнул запыленный пудовый том. Ну как, старый болтун? «Вечный огонь искусства»? Рухнул остывшей тушей, даром что шотландец… Дзинь! Вошел кто-то. Он обернулся – две клиентки в библиотеку. Одна, сутулая и затрапезная, напоминая рывшуюся на помойке утку, протиснулась бочком со своей

пролетарской плетенкой. Следом, как пухлый шустрый воробей, семенила низенькая и краснощекая особа из средних слоев среднего класса; в руках обложкой ко всем встречным (оцените, какова интеллектуалка!) «Сага о Форсайтах».

Гордон сменил кислую мину на предназначенную постоянным абонентам сердечность добродушного семейного доктора.

– Рад вас видеть, миссис Вевер, очень рад, миссис Пенн! Ужасная сегодня погода.

– Кошмар! – откликнулась миссис Пенн.

Он посторонился, пропуская их; миссис Вевер споткнулась и уронила из плетенки зачитанную до дыр «Серебряную свадьбу» Этель Дэлл[2 - Дэлл, Этель (1881–1933) – английская писательница, автор популярной («дамской») беллетристики.]. Блеснув сзади птичьим глазком, миссис Пенн саркастично улыбнулась Гордону, как умник умнику (Дэлл! о, какая пошлость! что читает это простонародье!). Гордон понимающе усмехнулся в ответ. Слегка улыбаясь друг другу, интеллектуалы прошли в библиотеку, невежество туда же.

Миссис Пенн положила на стол «Сагу о Форсайтах» и вскинула круглую воробьиную головку. Она всегда благоволила к Гордону, именовала его, всего лишь продавца, мистером Комстоком и вела с ним беседы о литературе.

– Надеюсь, вы получили удовольствие от «Саги», миссис Пенн?

– О да, изумительно, мистер Комсток! Вы знаете, я ведь четвертый раз перечитала. Эпос, поистине эпос!

Миссис Вевер возилась у стеллажей, не в состоянии постичь алфавитный порядок, бормоча под нос:

– Прям и не знаю, что б такое взять на неделю, прям не знаю. Дочка-то наказала мне, что, мол, бери-ка Дипинга[3 - Дипинг, Уорвик (1877–1950) – английский писатель, автор приключенческих и детективных романов.]. Она, дочка-то, прям его обожает, Дипинга этого. А зять-то, он больше за Берроуза. Ну, я уж и не

знаю…

При упоминании Берроуза миссис Пенн, закатив глазки, демонстративно повернулась к миссис Вевер спиной.

– Понимаете ли, мистер Комсток, в Голсуорси чувствуется что-то поистине великое. Такая широта, такая мощь, столько чисто английского и вообще человеческого. У него каждое произведение – человеческий документ.

– И у Пристли, – вступил Гордон. – Вы не находите, что Пристли тоже мыслит весьма широко?

– О да! Так широко, так человечно! И такой выразительный язык!

Миссис Вевер раскрыла рот, обнаружив три торчащих желтых зуба:

– А я возьму-ка вот обратно свою Дэлл. Уж так она мне по душе. Найдется у вас еще чего-нибудь? А дочке-то скажу, что вы уж как хотите, Берроуза вам или вашего Дипинга, а мне пусть моя Дэлл.

Им только Дэлл и Дэлл! О графах со сворами борзых! Глаз миссис Пенн послал сигнал тонкой иронии, Гордон незамедлительно дал ответный. (Держись, держись! Миссис Пенн образцовая клиентка!)

– К вашим услугам, миссис Вевер, целая полка; Этель Дэлл у нас в полном комплекте, не хотите ли «Мечту всей жизни»? Или если уже читали, то, может, «Измену чести»?

– Нет ли последней книги Хью Уолпола?[4 - Уолпол, Хью (1884–1941) – английский писатель натуралистической школы.] – перебила миссис Пенн. – Меня сейчас как-то тянет к эпической, классической литературе. Вы понимаете, Уолпол мне видится поистине великим писателем, он для меня сразу за Голсуорси. Что-то такое в нем высокое и в то же время что-то такое человеческое.

– И язык замечательный, – поддакнул Гордон.

– О, язык дивный, дивный!

Миссис Вевер, шмыгнув носом, решилась:

– Ладно, я вон какую штуку сделаю, возьму-ка я обратно «Орлиную дорогу». Уж тут сто раз читай, не начитаешься, так ведь?

– Вещь в самом деле удивительно популярная, – дипломатично отозвался Гордон, косясь на миссис Пенн.

– О, удивительно! – эхом пропела миссис Пенн, иронически улыбаясь Гордону.

Он принял от них по два пенса и пожелал счастливого пути обеим, миссис Пенн с новейшим Уолполом и миссис Вевер с «Орлиной дорогой».

Минуту спустя он снова стоял в зале, возле печально притягательных полок поэзии. Собственная несчастная книжонка засунута, конечно, на самый верх, к неходовым. «Мыши» Гордона Комстока; жиденькая тетрадочка, цена три шиллинга шесть пенсов, после уценки – шиллинг. Из тринадцати упомянувших о ней дежурных обозревателей (в том числе литприложение «Таймс», где автор был рекомендован «столь много нам обещающим») ни один рецензент не уловил сарказма в заглавии. И за два года среди покупателей ни одного, кто бы достал с полки его «Мышей».

Поэзия занимала целый стеллаж, содержимое которого оценивалось Гордоном весьма язвительно. В основном дребедень. Чуть выше головы, уже на пути к небесам и забвению, старая гвардия, тускнеющие звезды его юности: Йейтс, Дэвис, Дилан Томас, Хаусман, Харди, Деламар. Прямо перед глазами сегодняшний фейерверк: Элиот, Паунд, Оден, Кэмпбелл, Дей Льюис, Стивен Спендер. Блеск и треск есть, да, видно, подмокли петарды, тускнеющие звезды наверху горят поярче. Явится ли наконец кто-нибудь стоящий? Хотя и Лоуренс хорош, а Джойс как вылез из скорлупы, так еще лучше прежнего. Но если и придет кто-нибудь настоящий, как его разглядишь, затиснутого скопищем ерунды?

Дзинь! Быстро идти встречать клиента.

Прибыл уже однажды заходивший златокудрый юнец, губки-вишенки, томные девичьи повадки, явный «мусик». Насквозь пропах деньгами, весь ими светится. Маска джентльмена-лакея и формула учтивого радушия:

– Добрый день! Не могу ли чем-нибудь помочь? Какие книги вас особенно интересуют?

– Ах, не беспокойтесь, уади Бога, – картаво мяукнул Мусик. – Можно пуосто посмотээть? Я совэйшенно не умею пуайти мимо книжного магазина! Пуосто лечу сюда, как бабочка на свет.

Летел бы ты, Мусик, подальше! Гордон «интеллигентно» улыбнулся, как истинный ценитель истинному ценителю.

– Да-да, прошу вас. Это так приятно, когда заходят просто взглянуть на книги. Не хотите ли посмотреть новинки поэзии?

– Ах, уазумеется! Я обожаю поэзию!

Обожает он, сноб плюгавый! А одет паршивец с особенным художественным шиком. Гордон вынул миниатюрный алый томик.

– Вот, если позволите. Нечто весьма, весьма оригинальное, переводное. Несколько эксцентрично, но необычайно свежо. С болгарского.

Тонкое дело – обрабатывать клиента. Теперь оставь его, не дави, дай самому поискать, полистать минут двадцать; в конце концов, они обычно, приличия ради, что-нибудь покупают. Осмотрительно избегая стиля мусиков, но достаточно аристократично – небрежной походкой, рука в кармане, на лице безучастная джентльменская гладь – Гордон прошел к входной двери.

За окном слякоть и тоска. Откуда-то из-за угла унылой глуховатой дробью слышался перестук копыт. Под напором ветра бурые дымные столбы из труб пригнулись, стекая с крыш. Ну-ка, ну-ка!

Налетчиком лютым, неумолимым

Тополя нагие гнет, хлещет ветер.

Надломились бурые струи дыма

И поникли, как под ударом плети.

Нормально. Но дальше не пошло; глаза уперлись в шеренгу лучезарных рекламных рож. Бумажные уродцы, они даже забавны. Куда им еще соблазнять! Смех один, обольстительность кикимор с прыщавой задницей. Но душить душат; и от них несет вонью поганых денег. Гордон украдкой глянул на Мусика, который, проплыв уже довольно далеко, уткнулся в труд по русскому балету; изучал фотографии, держа книгу в розовых слабых лапках деликатно, как белка свой орех. Тип холеного «артистического» юноши. Не то чтобы, конечно, сам артист, однако «при искусстве»: болтается по студиям, разносит сплетни. Хорошенький мальчонка, несмотря на всю гомосексуальную слащавость. Кожа на шее сзади просто шелк, гладь перламутра, такую за пятьсот лет не отшлифуешь. И некий шарм, присущий только богачам. Деньги и обаяние – спаяно, не разорвать!

Вспомнился друг, необычайно обаятельный и весьма состоятельный редактор «Антихриста» Равелстон, к которому он столь нелепо привязался, с которым виделся не чаще двух раз в месяц. Вспомнилась Розмари, которая любила (даже, как она выражалась, «обожала») Гордона, однако никогда с ним не спала. Деньги, опять они. Все человеческие отношения их требуют. Нет денег, и друзья не помнят, и подружки не любят, то есть вроде бы любят, помнят, но не слишком. Да и за что? Прав, прав апостол Павел, ошибочка только насчет любви: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а денег не имею, то я – медь звенящая…» Пустая жестянка, барахло, говорить-то даже на этих самых языках не может.

И опять взгляд пошел сверлить плакатных персонажей, на сей раз злобно. Хороши! «С плиткой «Витолата» бодрость на целый день!»: юная парочка в чистеньких туристических костюмчиках, волосы живописно развеваются, впереди горный пейзаж. Девица еще хлеще парня! Устрашающей породы, сияет невинным сорванцом, любительница Игр и Аттракционов; шорты внатяжку, но и мысли ущипнуть такой зад не возникнет – обмылок. От зазывавшего рядом «Супербульона» почти буквально рвало: кретинизм самодовольной хари, лепешка глянцевых волос, дурацкие очки. «Вот кто вкушает наслаждение!» Вот кто – венец веков, герой и победитель, новейший человек на взгляд чутких создателей рекламы. Послушный шматок сала, хлебающий свое пойло в роскошно меблированном хлеву.

Мелькали посиневшие от ветра лица прохожих. Прогромыхал через площадь трамвай. Часы на «Принце Уэльском» пробили три. Показалась ковылявшая к магазину стариковская пара в свисающих едва не до земли засаленных пальто (бродяга или нищий со своей подругой). Похоже, книжное ворье; гляди-ка в оба за коробками снаружи. Старик остановился невдалеке, у края тротуара; старуха толкнулась в дверь и, распахнув ее, щурясь сквозь седые космы на Гордона с некой неприязненной надеждой, хрипло спросила:

– Книжки у вас покупают?

– Случается. Смотря какие книжки.

– А самые что ни на есть прекрасные!

Она вошла, бухнув лязгнувшей дверью. Мусик брезгливо покосился через плечо и слегка отступил в глубь магазина. Вытаскивая из-под пальто грязный мешок, старуха вплотную придвинулась к Гордону, потянуло запахом заплесневевших хлебных корок.

– Берете, а? – сощурилась она, крепко сжимая свой мешок. – Все чохом за полкроны?

– Что именно? Вы покажите мне, пожалуйста.

– Книжки прекрасные, прекрасные, – запыхтела она, наклоняясь развязать мешок и с новой силой шибанув в нос плесенью. – Во чего!

Стопка сунутой чуть не в лицо Гордону рухляди оказалась романами Шарлотты Янг издания 1884 года. Отпрянув, Гордон резко мотнул головой:

– Это мы взять не можем.

– Не-е? Почему «не можем»-то?

– Нам не годится, это невозможно продать.

– Чего ж тогда мешок – неси, развязывай, показывай? – сварливо начала старуха.

Гордон обошел ее, стараясь не дышать, и молча открыл дверь на улицу. Объясняться бесполезно. С подобной публикой имеешь дело каждый день. Сердито нахохлившись, ворчащая старуха убралась за дверь, к старику, который, перед тем как двинуться, харкнул так, что отозвалось у книжных полок. Накопленный белый комок мокроты, помедлив на губах, извергся в сток. И два сгорбленных существа, как два жука в своих долгополых отрепьях, поползли прочь.

Гордон глядел им вслед. В полном смысле слова отбросы. Отброшены, отвергнуты Бизнес-богом. Десятками тысяч по всему Лондону тащится такое нищее старичье, мириадами презираемых букашек ползет к могиле.

Улица подавляла унынием. Казалось, всякая жизнь всякой живой твари на улицах этого города невыносима и бессмысленна. Навалилось тяжелое, столь свойственное нашим дням чувство распада, разрушения, разложения. Причем каким-то образом это переплеталось с картинками реклам напротив. Нет-нет, всмотрись-ка глубже в глянцевый белозубый блеск до ушей. Не просто глупость, жадность и вульгарность. Сияя всей фальшивой челюстью, «Супербульон» и скалится так же фальшиво. А за улыбочкой? Тоска и сиротливый вой, тень близкой катастрофы. Будучи зрячим, разве не увидишь, что за фасадом гладенько самодовольной, хихикающей, с толстым брюхом пошлости лишь жуть и пропасть, только тайное отчаяние? Всемирное стремление к смерти. Пакты о самоубийстве. Головы в газовых духовках тихих одиноких квартирок. Презервативы и аборты. И зарницы грядущих войн. Вражеские самолеты над Лондоном, грозно ревущий гул пропеллеров, громовые разрывы бомб. Все-все написано на роже «Супербульона».

Повалили клиенты. Гордон услужливо сопровождал их, джентльмен-лакей.

Очередное дверное звяканье. Шумно явились две леди, верхи среднего класса. Одна цветущая и сочная, лет тридцати пяти, вздымающая бюстом крутой уступ изящной беличьей накидки, благоухающая сладострастным ароматом «Пармских фиалок»; вторая немолода и жилиста, судя по цвету лица, бывшая мэм-сахиб. Вслед за ними застенчиво, словно крадучись, скользнул темноволосый, неряшливо одетый юноша – один из лучших покупателей. Чистейший книжник; одинокое чудаковатое создание, робеющее молвить слово и явно склонное изобретательно тянуть с бритьем.

Гордон повторил свою формулу:

– Добрый день. Не могу ли чем-нибудь помочь? Какие книги вас особенно интересуют?

Сочная дама одарила щедрой улыбкой, но Жилистая предпочла воспринять вопрос как дерзость. Игнорируя Гордона, она утянула приятельницу к полкам с изданиями, посвященными кошкам и собакам, и обе тут же стали хватать книги, во всеуслышание их обсуждая. Голос у Жилистой гремел, как у сержанта на плацу (надо думать, супруга или вдова полковника). Все еще погруженный в труд по русскому балету, деликатный Мусик несколько отодвинулся, гримаской дав понять, что нарушение покоя, пожалуй, вынудит его покинуть магазин. Застенчивый книжник уже окопался у стеллажа поэзии. Леди, не закрывая рта, продолжали перебирать книги, они довольно часто захаживали посмотреть новинки о домашних любимцах, хотя ни разу не купили ничего. В торговом зале имелось целых две полки исключительно о песиках и кисках; хозяин магазина старик Маккечни называл это «дамским уголком».

Еще один клиент, в библиотеку. Некрасивая девушка лет двадцати, с усталым, простодушно-общительным лицом. Помощница из лавки химтоваров, она была без шляпки, в белом рабочем халате и в очках, мощные стекла которых странно искажали глаза. Немедленно надев «библиотечную» добродушную маску, Гордон провел косолапо ступавшую девушку к залежам романов.

– Чем же нынче вам угодить, мисс Викс?

– Ну, – протянула она, теребя ворот халата, блестя доверчивыми, странно черневшими за линзами глазами. – Мне-то вообще нравится, чтоб про всякую безумную любовь. Такую, знаете, посовременней.

– Посовременнее? Может быть, например, Барбару Бедворти? Читали вы ее «Почти невинна»?

– Ой, нет, она все «рассуждает». Я это ну никак. Мне бы такое, знаете, чтоб современно: сексуальные проблемы, развод и все такое.

– Современно, без «рассуждений»? – кивнул Гордон, как человек простецкий простому человеку.

Прикидывая, он скользил глазами по книжной кладке; романов о пылких грешных страстях насчитывалось сотни три, не меньше. Из торгового зала слышался оживленный диспут разглядывавших фотографии собак леди верхне-среднего класса. Сочную умилял пекинес – «лапочка, такой ангелочек, глазишки круглые, носишка кнопочкой, ну просто пуся!». Но Жилистая (точно полковничиха!), находя пекинеса приторным, желала видеть «настоящих боевых псов» и презирала «всех этих лапочек». «У вас, Беделия, нет сердца, совершенно нет сердца», – жалобно роптала Сочная. Опять дернулся дверной колокольчик. Гордон поспешно вручил продавщице химтоваров «Семь огненных ночей» и, сделав пометку в ее карточке, получив вынутые из потертого кошелька два пенса, вернулся к покупателям. Мусика, ткнувшего труд о балете не на ту полку, след простыл. Вошедшая решительная дама в строгом костюме и золотом пенсне (наверное, училка и уж наверняка феминистка) потребовала «Борьбу женщин за избирательное право» миссис Вартон-Беверлей. С тайной радостью Гордон сообщил ей, что сочинение еще не поступило. Сразив взглядом мужскую скудоумную непросвещенность, феминистка удалилась. Худенький долговязый книжник, зарывшись в «Избранные стихотворения» Лоуренса, жался в углу сунувшей голову под крыло цаплей.

Гордон занял пост у входной двери. На тротуаре рылся в коробе «все по шесть пенсов» замотанный грязно-зеленым шарфом престарелый и обветшавший джентльмен с носом, как спелая клубника. Леди верхне-среднего класса внезапно оставили полки, бросив на столе вороха раскрытых книг. Сочная в неких колебаниях оглянулась было на собачий альбом, но Жилистая дернула ее, сурово охраняя от лишних трат. Гордон открыл им дверь – леди прошествовали мимо, не удостоив взглядом.

Две спины под роскошными мехами постепенно скрылись вдали. Перебирая книжки, престарелый Клубничный Нос что-то сам себе приговаривал. Видимо, слегка тронутый; глаз не своди: вполне способен что-нибудь стибрить.

Ветер свистел все злее, уличная грязь подсохла. Пора уже зажечься фонарям. Узкий бумажный лоскут «экспресс-соуса» реял как мачтовый флажок. Ага!

Налетчиком лютым, неумолимым

Тополя нагие гнет, хлещет ветер.

Надломились бурые струи дыма

И поникли, как под ударом плети.

Стылый гул трамвайный, унылый цокот,

Гордо реющий клок рекламной афиши…

Неплохо, неплохо. Но дальше как-то не хотелось – точнее, не получалось. Тихонько, чтоб не потревожить робкого книжника, он перебрал в кармане свою мелочь. Два с половиной пенса. Завтра вовсе без курева. Кости ноют с тоски.

В «Принце Уэльском» зажгли свет: подчищают бар перед открытием. Клубничный Нос, выудив из коробки «все по два пенса» Эдгара Уоллеса, читал. Вдалеке показался трамвай. Наверху редко спускающийся в магазин старик Маккечни дремлет сейчас около печки, белогривый, белобородый, руки с табакеркой на кожаном старинном переплете «Путешествия в Левант» Томаса Мидлтона.

Стеснительный юноша вдруг понял, что все, кроме него, ушли, и виновато огляделся. Завсегдатай у букинистов, он, однако, подолгу возле полок не задерживался, вечно раздираемый страстной жаждой книг и боязнью показаться назойливым. Через десять минут его охватывала неловкость, и чувство пойманного зверька заставляло спасаться бегством, впопыхах что-то покупая исключительно по причине слабонервности. Безмолвно он протянул «Стихотворения» Лоуренса и шесть неловко извлеченных из кармана шиллингов, которые при передаче Гордону уронил на пол, вследствие чего оба одновременно нагнулись, столкнувшись лбами. Лицо юноши побагровело.

– Давайте я вам заверну, – предложил Гордон.

Юноша замотал головой (он так ужасно заикался, что вообще не говорил без крайней надобности), прижал к себе книгу и выскочил с видом свершившего дико позорное деяние.

Оставшись в одиночестве, Гордон тупо поплелся к стеклянной двери. Старикан Клубничный Нос, перехватив луч бдительного ока, досадливо повернул восвояси – еще миг, и триллер Уоллеса скользнул бы ему за пазуху. Часы на «Принце Уэльском» пробили три с четвертью.

Бом-бом, динь-динь! Три с четвертью. Через полчаса включить свет. Четыре часа сорок пять минут до закрытия. Пять часов с четвертью до ужина. В кармане два пенса и полпенни. Завтра ни крошки табака.

Вдруг накатило безумное желание закурить. Вообще-то было решено весь день воздерживаться, приберечь последние четыре сигареты на вечер, когда он сядет «писать». «Писать» без курева труднее, чем без воздуха. И тем не менее сейчас! Вытащив пачку «Цирка», Гордон достал одну из рыхлых мятых сигареток. Глупо, поблажка эта отнимала полчаса вечернего сочинительства. Но как перебороть себя? С неким стыдящимся блаженством он втянул струйку сладостного дыма.

Из тускловатого стекла смотрело собственное отражение – Гордон Комсток, автор «Мышей»; en I'an trentiesme de son eage[5 - «Год жизни шел тогда тридцатый» (фр.). Начальная строка поэмы Франсуа Вийона «Большое завещание».], а старик стариком; зубов во рту осталось только двадцать шесть. Впрочем, Вийона, по его признанию, в эти годы донимал сифилис. Будем же благодарны и за мелкие милости свыше.

Не отрываясь, он наблюдал трепыхание бумажного лоскута у края «экспресс-соуса». Гибнет наша цивилизация. Обречена погибнуть. Только мирным угасанием не обойдется: армада летящих бомбардировщиков, резкий пикирующий свист – бабах! И весь западный мир на воздух в огне и грохоте!

На улице темнело, мутно отблескивало отражение его собственной хмурой физиономии, сновали за окном понурые силуэты прохожих. Сами собой всплыли бодлеровские строчки:

C’est I'Ennui – I'oeil charge d’un pleur involontaire,

II rkve d’echafauds en fumant son houka[6 - То – Скука! – Облаком своей houka одета,Она, тоскуя, ждет, чтоб эшафот возник.Ш. Бодлер. Цветы зла. (Перевод Эллиса.)].

Деньги, деньги! «Вкушающий наслаждение» потребитель «супербульона»! Рев самолетов и грохот бомб.

Гордон глянул в свинцовое небо. Уже виделись эти самолеты: эскадра за эскадрой, тучами черной саранчи. Неплотно прижимая язык к зубам, он издал нечто вроде жужжания бьющейся о стекло мухи. О, как мечталось услышать мощный тяжелый гул штурмовой авиации!

2

Ветер свистел в лицо, насквозь пронизывая топавшего домой Гордона, откинув ему волосы и крайне щедро прибавив «симпатичной» высоты лба. Всем своим видом Гордон внушал (или надеялся внушить), что пальто он не носит по личной прихоти. Пальтишко, откровенно говоря, было заложено за восемнадцать шиллингов.

Жил он в районе северо-запада. Его Виллоубед-роуд не считалась трущобной улицей, просто сомнительной и мрачноватой. Настоящие трущобы начинались через пару кварталов. Там теснились эти многоквартирные соты, где люди спали впятером в одной кровати, и, если кому-то случалось умереть, прочие так и спали рядом с мертвецом до самых похорон; там жались эти улочки и тупики, где девчонки беременели от мальчишек, отдаваясь им в облезлых подворотнях. Нет, Виллоубед-роуд ухитрялась каким-то образом держаться с пристойностью пусть и низов, но, безусловно, низов среднего класса. Здесь на одном из зданий даже красовалась медная табличка дантиста. В подавляющем большинстве домов меж обшитыми бахромой оконными портьерами гостиных над зарослями фикусов сияли серебряными буковками на темно-зеленом фоне карточки «Принимаются жильцы».

Квартирная хозяйка Гордона, миссис Визбич, специализировалась по «одиноким джентльменам». Маленькая комната, свет газовый, отопление за свой счет, право за дополнительную плату пользоваться ванной (с газовой колонкой) и кормежка в могильно сумрачной щели, у стола, неизменно украшенного строем бутылочек неких засохших специй, – Гордону, приходившему днем обедать, это обходилось в двадцать семь шиллингов шесть пенсов в неделю.

Над подъездом номер 31 слабо светилось желтоватое оконце. Гордон достал свой ключ и кое-как воткнул его – есть тип жилищ, где идет вечный бой замков с ключами. Темноватая прихожая, в сущности коридорчик, пахла помоями,

капустой, ветошью ковриков и содержимым ночной посуды. Японский лаковый поднос на этажерке был пуст. Ну разумеется! Твердо решив больше не ждать писем, Гордон, однако, их очень ждал. И вот не боль в душе, но тягостно саднящий осадок. Все-таки Розмари могла бы написать! Четвертый день от нее ничего нет. Ничего нет и из двух редакций, куда послано по стихотворению. А ведь единственное, что маячило весь день хоть каким-то просветом, это надежда найти вечером письмо. Посланий Гордон получал немного и далеко не каждый день.

Слева от прихожей располагалась парадная, никогда не принимавшая гостей гостиная, затем шла узенькая лестница наверх, коридор вел также в кухню и к неприступному обиталищу самой миссис Визбич. Едва Гордон вошел, дверь в конце коридора приоткрылась, позволив миссис Визбич метнуть подозрительный взгляд, и вновь захлопнулась. Без этого бдительного досмотра войти или уйти до одиннадцати ночи было практически невозможно. Трудно сказать, в чем именно рассчитывала уличить жильца миссис Визбич; скорее всего в контрабандном протаскивании женщин. Почтенная хозяйка из породы дотошных тиранок представляла собой тучную, но весьма энергичную и устрашающе зоркую особу лет сорока пяти, с красиво оттененным сединами благообразным, румяным и постоянно обиженным лицом.

Гордон уже ступил на лестницу, когда сверху густой, чуть сипловатый баритон пропел: «Кто-кто боится злого Большого Волка?» Слегка танцующей походкой толстяков навстречу Гордону спускался очень жирный джентльмен в шикарном сером костюме, лихо заломленной шляпе, оранжевых штиблетах и светло-синем пальто потрясающей вульгарности – Флаксман, жилец второго этажа, разъездной представитель фирмы «Царица гигиены и косметики». Салютуя лимонно-желтой перчаткой, он беззаботно кинул Гордону:

– Привет, парнишка! – Флаксман всех подряд называл «парнишками». – Как жизнь?

– Дерьмо, – отрезал Гордон.

Подошедший Флаксман ласково обнял его своей ручищей:

– Брось, старик, не переживай! Ты как на драном кладбище! Я сейчас в «Герб» – давай, пошли со мной.

– Не могу. Нужно поработать.

– Да ни черта! Посидим, по стаканчику пропустим? Чего хорошего тут даром маяться. Возьмем пивка, душечку барменшу потискаем?

Гордон вывернулся из-под пухлой лапы. Мужчина миниатюрный, он ненавидел, когда его трогали. Рослый толстяк Флаксман лишь ухмыльнулся. Толст он был чудовищно; брюки его распирало так, словно бы он сначала таял и затем наливался в них. И разумеется, как все жирные, таковым он себя никак не признавал, предпочитая определения уклончивые: «плотный», например, или «дородный», а еще лучше «здоровяк». Толстяки просто обожают, когда их называют «здоровяками».

При первом знакомстве Флаксман совсем было собрался аттестовать себя здоровяком, но что-то в зеленоватых глазах Гордона его удержало, и он пошел на компромисс, выбрав «дородный»:

– Меня, парнишка, знаешь, малость того, в дородность повело. Для здоровья-то, понимаешь, только польза. – Он ласково погладил плавный холм от груди к животу. – Славное, плотное мясцо. А на ногу я знаешь какой прыгун-резвун? Ну в общем, это, меня вроде бы можно назвать дородным малым.

– Как Кортеса? – подсказал Гордон.

– Кортес? Это который? Тот парнишка, что все в Мексике по горам шатался?

– Он самый. Весьма был дороден, зато с орлиным взором.

– Ну? Вот смех! Мне жена однажды почти так же и сказала! «Джордж, – говорит, – красивей твоих глаз на свете нету. Прям-таки, – говорит, – как у орла». Ну, это она, сам понимаешь, еще до свадьбы.

В настоящий момент Флаксман проживал без супруги. Некоторое время назад «Царица гигиены» неожиданно наградила своих представителей премиями по тридцать фунтов, одновременно командировав Флаксмана с двумя его коллегами в Париж, дабы продвинуть на французский рынок новинку – губную помаду «Влекущая магнолия». Жене о премии Флаксман и не подумал сказать и,

разумеется, вовсю побаловал себя в Париже. Даже теперь, три месяца спустя, при описании поездки на его губах появлялась сальная ухмылка. При каждой встрече Гордону перечислялся ассортимент сочных деталей. Десять парижских дней с тридцатью фунтами, насчет которых супружница не в курсе! Хо-хо, парень! Но к сожалению, случилась утечка информации, так что дома Флаксмана ожидало возмездие. Супруга разбила ему голову подаренным еще на свадьбу, четырнадцать лет назад, граненым винным графином и отбыла, забрав детишек, к матери. Последствием явилось изгнание Флаксмана на Виллоубед-роуд, по поводу чего он, однако, не особенно тревожился. Бывало и прежде; как-нибудь рассосется, образуется.

Гордон еще раз попытался увернуться от Флаксмана. Ужас был в том, что ему отчаянно хотелось пойти с ним. Томило желание выпить – одно упоминание о «Гербе» вызывало немыслимую жажду. Но денег нет и, стало быть, исключено! Однако неотступный Флаксман изобразил рукой опущенный шлагбаум. Он искренне был расположен к Гордону, считая его «ученым», а саму «ученость» – милой блажью; кроме того, он совершенно не выносил одиночества, нуждаясь в компании даже на время короткой прогулки до паба.

– Айда, парнишка! – убеждал он. – Надо, ей-богу, надо тебе срочно пивка глотнуть, встряхнуться! Ты ж еще не видал там новую официанточку, хо-хо! Персик!

– Так вот чего ты расфрантился? – сказал Гордон, холодно глядя на лимонные перчатки.

– А то! М-м, какой персик! Пепельная блондиночка и, будь уверен, знает кой-какие славные штучки. Вчера ей тюбик нашей «Влекущей магнолии» презентовал. Видел бы ты ее походочку, как она попкой около меня виляла. Даст ли щипнуть? Ой, не могу!

Флаксман, чуть высунув язык, сладострастно поежился и вдруг, будто добравшись до блондиночки, ловко прихватил Гордона за талию. Гордон отпихнул его. На мгновение он уже готов был сдаться томившей жажде. Кружка пива! Он почти ощутил вкус первых упоительных глотков. Хотя бы шиллинг, хоть полшиллинга на одну кружку! Но что толку травить себя? Нельзя позволить, чтобы кто-то платил за твою выпивку.

– Да отвяжись ты, к черту! – раздраженно бросил Гордон и, не оглядываясь, зашагал наверх.

Слегка обиженный, Флаксман поправил шляпу и ушел. Последнее время Гордон постоянно огрызался, пресекая любое поползновение на дружеский контакт. Причина, конечно, все та же – ни гроша. Какие тебе друзья, какое вообще общение, когда карман пуст? Сердце стиснуло от острой жалости к себе. Представился зал в пабе: аромат горьковатой пивной свежести, свет, уют, веселые голоса, стук наполненных кружек… Деньги, деньги! Он продолжал взбираться по темной вонявшей лестнице. В свою холостяцкую келью на самом верху хотелось, как в тюремный каземат.

На третьем этаже квартировал Лоренхайм, щуплый, ящеркой шмыгавший брюнет невнятного возраста и племени, выручавший шиллингов тридцать пять в неделю, навязывая пылесосы. Мимо его двери следовало проходить очень быстро, иначе это никому на свете не нужное, смертельно одинокое существо униженно и цепко атаковало вас, изводя бесконечными бредовыми рассказами о совращении девиц или победах на ниве бизнеса. В берлоге Лоренхайма, где повсюду валялись корки хлеба с маргарином, мерзость запустения превосходила нормы даже самых дешевых меблирашек. Последним из пансионеров миссис Визбич был какой-то механик, работавший в ночную смену. Этот лишь изредка мелькал – крупный мужчина с бледным мрачным лицом, неизменно в котелке.

Привычно нащупав впотьмах газовый рожок, Гордон зажег горелку. Осветилась комната – ни то ни се: разгородить занавеской маловата, а согреть дряхлой керосиновой лампой велика. Обстановка, как полагается в последнем этаже: покрытая белым одеяльцем узкая койка, бурый линолеум, стоячий рукомойник с кувшином и дрянным тазиком, эмаль которого настырно напоминает о ночных горшках. На подоконнике в глазурованном керамическом вазоне чахлый фикус.

Перед окном располагался кухонный столик под зеленой, заляпанной чернилами скатеркой – письменный стол Гордона. Его боевой трофей после долгой ожесточенной битвы с миссис Визбич, включавшей в ансамбль чердачной комнаты лишь бамбуковую подставку под фикус и до сих пор ворчавшей из-за «неопрятности» этого лишнего предмета. Стол действительно не убирался, постоянно являя взору горы и оползни пыльной многостраничной рукописи, ввиду бесконечных вычеркиваний, вставок и поправок превратившейся в тайнопись, ключом к которой владел один Гордон. Сверху несколько битых блюдечек, хранилищ пепла и скрюченных окурков. Если б не стопка книг на

выступе камина, этот заваленный бумагой столик был бы единственной личной приметой здешнего жильца.

Холод стоял зверский, и Гордон решил зажечь керосиновую лампу. Подняв ее и ощутив неприятную легкость (бидон для керосина тоже пуст, так что и лампу не заправить до пятницы), он чиркнул спичкой – по фитилю еле-еле пополз дрожащий рыжий огонек. В лучшем случае будет чадить пару часов. Откидывая горелую спичку, Гордон краем взгляда зацепил фикус. Удивительно хилый уродец в глазурованном горшке топырил всего семь листиков, явно бессильный вытолкнуть еще хоть один. У Гордона давно шла с ним тайная беспощадная война. Он всячески пытался извести его, лишая полива, гася у ствола окурки и даже подсыпая в землю соль. Тщетно! Пакость фактически бессмертна. Что ни делай, вроде хиреет, вянет, но живет. Гордон встал и старательно вытер испачканные керосином пальцы о листья фикуса.

В этот момент снизу раздался сварливый зов миссис Визбич:

– Мистер Комсток!

– Да? – откликнулся, подойдя к двери, Гордон.

– Ваш ужин десять минут на столе. Почему всегда непременно нужно задерживать меня с мытьем посуды?

Гордон поплелся вниз. Столовая находилась в глубине второго этажа, напротив апартаментов Флаксмана. Промозглая, припахивавшая клозетом и сумрачная даже в полдень, она была набита такой кошмарной массой фикусов, что Гордону никогда не удавалось их точно пересчитать. Фикусы на буфете, на полу, на всевозможных разнокалиберных столиках, в ячейках загородившей оконный проем цветочницы – казалось, ты на дне, среди густых водорослей. Ужин дожидался, высвеченный круглым лучом газового рожка. Усевшись спиной к камину (за решеткой которого вместо пламени тускло зеленел очередной фикус), Гордон принялся жевать ломтик холодного мяса с двумя кусками крошащегося белого хлеба, попутно угощаясь комочком маргарина, обломком сыра и горчицей, запивая все это стаканом холодной, но почему-то затхлой воды.

Когда он снова поднялся к себе, керосиновая лампа более-менее раскочегарилась. Пожалуй, хватит вскипятить полпинты. Близился центральный номер программы его вечеров – незаконная чашка чая. Чашка чая, которой он потчевал себя почти еженощно, приготовляя ее в глубочайшей тайне. У миссис Визбич чай за ужином не полагался, поскольку при ее заботах «еще и воду кипяти – это уж слишком!», а чаепития у квартирантов запрещались категорически. На ворох исчерканной рукописи даже смотреть было противно. И не станет он нынче вечером корпеть, и не притронется, вот так-то! Чай заварит, выкурит свой остаток сигарет и просто почитает, «Лира» или «Шерлока Холмса». Книги его стояли на каминной полке рядом с будильником: Шекспир в дешевеньком издании, «Шерлок Холмс», поэмы Вийона, «Родрик Рэндом» Смоллетта, «Цветы зла», несколько французских романов. Правда, сейчас он ничего не мог читать, кроме Шекспира и Конан Дойла. Итак, чай.

Гордон подошел к двери, слегка приоткрыл, прислушался – ни звука. Необходимо было быть предельно осторожным с миссис Визбич, вполне способной крадучись взобраться, дабы застать врасплох: заваривание чая являлось тягчайшим нарушением устава, почти равным протаскиванию женщин. Тихонько задвинув щеколду, он вытащил из-под кровати свой старый чемодан, откуда поочередно извлек шестипенсовый жестяной чайник, пачку лионского чая, банку сгущенки, заварной чайничек и чашку (во избежание звяканья каждый предмет был обернут газетой).

Процедуру он давно отработал. Сначала, до половины залив чайник водой из кувшина, установить его на керосиновой горелке. Затем, опустившись на колени, расстелить перед собой клок газеты. Вчерашняя заварка, разумеется, еще внутри. Он вытряхнул ее, пальцем выгреб остатки и тщательно запаковал тугой сверток. Теперь самый рискованный момент – пойти и незаметно выкинуть; проблемы убийцы, которому надо избавиться от трупа. А чашку, как обычно, он утром, умываясь, сполоснет в тазике. Невмоготу бывала эта мышиная возня. Невероятно, каких партизанских ухищрений требовало житье у миссис Визбич, вечно, казалось, шпионившей и действительно без устали сновавшей на цыпочках в надежде подловить на каком-нибудь прегрешении преступных квартирантов. Дом, где даже в уборной не расслабишься из-за ощущения чьих-то ушей за стенкой.

Гордон отодвинул щеколду и замер, затаив дыхание. Тишина. Оп! Издалека еле слышно брякнули тарелки – хозяйка занялась мытьем посуды. Пожалуй, пора.

Осторожно ступая, прижимая к груди повлажневший сверток, он стал спускаться. Клозет находился на третьем этаже. У лестничного поворота он вновь замер, весь превратившись в слух. Ага! Бренчит посуда – путь свободен!

И Гордон Комсток, поэт («столь много нам обещающий» – см. литприложение «Таймс»), пулей пронесся к уборной, кинул заварку в унитаз и спустил воду. Потом поспешил обратно, заперся и, привычно остерегаясь каких-либо шумов, заварил себе свежий чай.

Тем временем в комнате несколько потеплело, чай и сигарета тоже сотворили свое недолгое волшебство. Злая тоска чуть отступила. Ну что ж, не поработать ли? Да уж конечно! Завтра сам себя истерзаешь, если вечер пройдет впустую. Не слишком рьяно он подвинул стул к столу. Вздохнул, перед тем как нырнуть в чащобу рукописи, вытянул несколько исписанных листов, расправил их и пробежал глазами. Господи, что за месиво! Этот текст – написано, зачеркнуто, сверху надписано и снова вычеркнуто – словно тело обреченного бедняги, по двадцать раз искромсанное скальпелем. Радует только почерк в просветах между грязью – ровная «интеллигентная» строгость. О-хо-хо, кровью и потом далась эта благородная простота руке, натасканной на свинстве кудрявых школьных прописей.

Пожалуй, он сможет поработать; ну хоть как-то, хоть сколько-то. Где в этом бардаке кусок, который он вчера чиркал? Поэма была грандиозной панорамой, то есть предполагалась ею стать – тысячи две строк, четко, классически рифмованных, рисующих лондонский день (название – «Прелести Лондона»). То, что подобные амбициозные проекты нуждаются по крайней мере в досуге мирном и бескрайнем, автор поначалу не уяснил. Теперь зато – вполне. Ах, с каким легким сердцем начинал он пару лет назад! Когда, обрубив концы, нырнул в пучину вольной бедности, как воодушевлял сам замысел поэмы. Тогда так ясно ощущалось, что это именно его тема. Однако ж почти сразу «Прелести Лондона» не задались. Размах не по плечу, да – не по силам. Работа не двигалась, за два года налеплена только куча фрагментов, разрозненных и незаконченных. Везде обрывки мараных-перемараных стихов, месяцами не выправлявшихся. Начисто завершенных и пятисот строк не наберется. И уже нет воли толкать это вперед, одни сумбурные подчистки да поправки то там, то сям. Поэмы даже вчерне не было; просто некий кошмар, с которым он упрямо бился.

Так что итог двух мученических лет – лишь горсточка стишков-осколков. Все реже случалось погружаться в глубинный мир, творящий слова поэзии или

прекрасной прозы. А долгие часы, когда он совершенно «не мог», все множились и множились. В разнообразии людских пород только художник позволяет себе заявить, что он «не может» работать. Но это истинная правда, временами действительно не может. Деньги чертовы, никуда без них! Туго с деньгами – значит, быт убогий, зуд мелочных хлопот, нехватка курева, повсюду ощущение позорного провала и, прежде всего, одиночество. А как иначе живущему на гроши? И разве в таком глухом одиночестве что-то достойное напишешь? Ясно, что никакой поэмы «Прелести Лондона» не сложится, да и вообще ничего путного не выйдет. Трезвым умом Гордон сам понимал.

И все равно – и как раз именно поэтому – он продолжал возиться с текстом. Здесь была некая опора, способ дать в морду нищете и одиночеству. Кроме того, иногда вдохновение (или его подобие) все-таки возвращалось. Как этим вечером, пусть ненадолго, на две выкуренные сигареты. Наполнивший легкие дым отгородил от пошлой реальности. Сознание ухнуло в бездонные просторы, где пишутся стихи. Тихо баюкая, посвистывал над головой светящий газовый рожок. Слова ожили, заиграли смыслом. На глаза попалось написанное год назад, оставленное без продолжения и сейчас вдруг кольнувшее двустишие. Он несколько раз, мыча, перечел его – не то, не то. Когда впервые записал, было нормально, теперь царапало оттенком неприятной развязности. Порывшись в листах, найдя наконец страницу с чистым оборотом, переписал туда сомнительные строчки, сделал дюжину версий, многократно бормоча каждую на разные лады. Плохо, вообще плохо – дешевка. Не пойдет. Нашел первоначальное двустишие в общем черновике и вычеркнул двумя жирными линиями. И почувствовал сделанный шажок, словно действительно удалось что-то сделать.

Внезапный энергичный стук с улицы сотряс весь дом. Гордон вздрогнул, мигом вернувшись на землю. Почта! «Прелести Лондона» были забыты, сердце затрепетало. Может быть, письмо от Розмари? Или ответы из редакций на два стихотворения? С провалом одного – в заокеанской «Калифорнийской панораме» – он почти примирился (полгода оттуда ни звука, наверно, и рукопись не позаботятся вернуть). Но другое отправлено в английский альманах «Первоцвет», и здесь имелись сумасшедшие надежды. В глубине души Гордон, конечно, сознавал, что в «Первоцвете» его никогда не напечатают – не их стандарт, однако чудеса случаются, а если не чудеса, так сбои в механизме. В конце концов, стихи у них уже полтора месяца. Зачем полтора месяца держать, если не собираются печатать? Уймись, гони эту безумную мечту! Ну ладно, хоть Розмари написала. Через четыре дня. Не представляет она, каково сутками ждать ее писем. Длинных косноязычных писем с дурацким юмором и уверениями в любви. Совсем не понимает, что ее послания для него – знак существования

кого-то, кому он все же нужен. Что только это его поддержало, когда один хам грубо отверг его стихи. Впрочем, отказы следовали практически отовсюду, кроме «Антихриста», редактором которого был друживший с Гордоном Равелстон.

Внизу обычное шуршание. Миссис Визбич всегда медлила разносить почту, она любила повертеть конверты, исследовать их толщину, почтовый штемпель, поглядеть на просвет, погадать над содержанием. Что-то вроде владетельного «права первой ночи» с письмами квартирантов, присланными на ее адрес и, стало быть, как она ощущала, отчасти ей принадлежащими. Случись кому-нибудь спуститься, чтобы забрать свое письмо, она бы горько обиделась. С другой стороны, ее очень обижали и хлопоты с доставкой писем наверх. Вначале слышался медленный-медленный подъем по лестнице, потом, уже с площадки, вздохи тяжкой усталости оповещали, что из-за вас хозяйка должна жертвовать здоровьем, и лишь затем, с брюзгливым шумным сопением, письма подсовывались под дверь.

Лестница внизу скрипнула: миссис Визбич начала подниматься. Гордон слушал. Скрип прекратился у второго этажа – письмо для Флаксмана. Снова поскрипывание и пауза на третьем этаже – письмо механику. Сердце гулко забилось. Господи, умоляю, письмо мне, письмо! Ого, опять шаги, но наверх или вниз? Сюда идет, ура! Нет, не сюда… Скрип постепенно удалялся, звук его слабел, затем и вовсе стих. Не будет писем.

Он снова взялся за перо, но зачем, непонятно. Так и не написала! Вот поганка! К работе больше ни капли интереса; обманутое ожидание всю душу вынуло. Только что певшие и дышавшие, строчки стали глупой дохлятиной. Нервно, почти брезгливо Гордон собрал листы, сложил их кое-как лохматой кипой и убрал со стола на подоконник, загородив фикусом. Видеть невозможно!

Он встал. Спать еще вроде рановато, во всяком случае, пока не тянет. Хотелось чем-нибудь развлечься, чем-то совсем простеньким: посидеть в киношке, покурить, пивка выпить. Увы! Самых грошовых удовольствий себе не купишь. Он решил было взять «Короля Лира» – забыть гнусную современность, однако, поколебавшись, снял с полки «Холмса», известного наизусть. Керосин в лампе догорал, от холода уже трясло. Сдернув с кровати стеганое одеяло, Гордон закутал ноги и уселся читать. Руки грелись за пазухой, шелестели страницы «Пестрой ленты», шипел светильный газ, таявший огонек керосиновой лампы одарял теплом не больше свечки.

В недрах логовища миссис Визбич прозвонило половину одиннадцатого. Ночью отчетливо доносился этот звон, гудящий роковым набатом: бу-ум! бу-ум! Стало слышно и тиканье будильника, зловещее напоминание об уходящем времени. Гордон поднял глаза. Еще вечер пропал. Впустую уплывающие дни, недели, годы. Ночь за ночью все то же – неуютное жилье, кровать без женщины, пыль, сигаретный пепел и листья фикуса. А вот-вот тридцать стукнет. Сознательно кладя себя на плаху, Гордон вытащил расползавшийся ворох черновиков и устремил на них взор, как скорбный философ на череп, символ бренности. Друзья, позвольте вам представить грандиозную поэму «Прелести Лондона», творение Гордона Комстока, автора «Мышей». Его шедевр, плод (хорош фруктик!) двухлетних творческих исканий – бесподобная галиматья! И достижение нынешнего вечера – пара строк вычеркнута, две строки переместились с конца в начало.

Керосиновая лампа, слабо икнув, погасла. Не без изрядного напряжения воли Гордон размотал одеяло и швырнул на кровать. Лучше сейчас лечь, пока еще хлеще не выстыло. Он зашаркал к постели. Стоп – утром на работу: заведи часы! поставь будильник! Ничего не сделал, ни на йоту не двинулся, не заслужил отдохновение после трудов праведных.

Некоторое время он копил силы, чтоб раздеться. Минут пятнадцать провалялся в полном облачении, руки за голову, глаза в потолок. Трещины на штукатурке напоминали карту Австралии. Гордон давно приспособился лежа скидывать башмаки и носки. Помотав обнажившейся ступней, он критически оглядел ее, жалковатую, худосочную. Ноги (как и руки) не впечатляли. К тому же ступня была очень грязной. Ванну он не принимал уже дней десять. Застыдившись немытых ног, он, кряхтя, сел и наконец разделся, побросав одежду на пол. После чего завернул вентиль газового рожка и скользнул в простыни, жутко дрожа, поскольку спал он теперь всегда голым. Последняя его пижама скапутилась больше года назад.

Хозяйкины куранты отбили одиннадцать. Едва суровая неприветливость кровати несколько потеплела, в памяти зашевелилось то, что удалось насочинять за день, и Гордон шепотом начал скандировать:

Налетчиком лютым, неумолимым

Тополя нагие гнет, хлещет ветер.

Надломились бурые струи дыма

И поникли, как под ударом плети…

Вдруг ужаснула механическая пустота каких-то без толку стучащих шестеренок – рифма к рифме, перекрестно: трам-блям, трам-блям! Как заведенный кивающий болванчик. Поэзия! Предел тщетности. Он лежал с открытыми глазами, в ясном сознании своих тщетных усилий, своих тридцати лет и тупика, куда сам же себя загнал.

Часы пробили полночь. Постель становилась все уютней, и Гордон вытянул зябко поджатые ноги. Случайный луч автомобильной фары откуда-то с соседней улицы проник сквозь штору, посеребрив верхний торчащий листок фикуса, превратив его в наконечник гордо сверкающего копья Агамемнона.

3

«Гордон Комсток» звучало ужас как миленько, зато вроде бы родовито. «Гордон» – привет из Шотландии, конечно; еще одна частичка особенно заметной в последние полвека британской шотландизации. Гордоны, Колины, Малькомы, Дональды в том же ряду шотландских даров человечеству, что виски, овсянка, гольф, сочинения Барри[7 - Барри, Джеймс Мэтью (1860–1937), шотландский писатель, автор сказочной повести «Питер Пэн».] и Стивенсона.

Комстоки, безземельные дворянчики, принадлежали к самому унылому, срединно-среднему общественному слою. В нынешней жалкой бедности им не дано было даже вздыхать о «золотом веке» «старинного» семейства, ибо, отнюдь не «старинные», они являлись рядовым семейством, поднявшимся на волне викторианского процветания и рухнувшим раньше самой этой волны. Период их достатка длился лишь несколько десятков лет, когда активно орудовал дед Гордона, мистер Сэмюэль Комсток – «дедуля», как с малых лет приучен был говорить Гордон, хотя деда не стало за пять лет до его рождения.

Дедуля Комсток был из тех, кто мощно правит даже с того света. При жизни этот матерый негодяй, грабя рабочих и туземцев, набил мошну, выстроил себе красный кирпичный особняк несокрушимой прочности и породил дюжину чад,

уступив смерти лишь одного младенца. Сразил его внезапный апоплексический удар. Дети воздвигли на могиле гранитную глыбу со следующей надписью:

НАВЕКИ ОСТАВШИЙСЯ В СЕРДЦАХ

СЭМЮЭЛЬ ИЕЗЕКИИЛЬ КОМСТОК,

ПРЕДАННЫЙ СУПРУГ, НЕЖНЫЙ ОТЕЦ,

ОБРАЗЕЦ ЧЕСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ,

РОЖДЕННЫЙ 9.07.1828, ПОЧИВШИЙ 5.09.1901.

СКОРБЬ ДЕТЕЙ БЕЗУТЕШНА.

СПИ СПОКОЙНО В ОБЪЯТИЯХ ИИСУСА.

Нет нужды повторять богохульные комментарии каждого, знавшего дедулю Комстока. Однако стоит отметить, что плита с вышеприведенной эпитафией весила около пяти тонн, чем несомненно отвечала пусть бессознательным, но очевидным желаниям потомства надежно застраховать себя от явления дедушки из могилы. Сокровенные чувства родни к покойному наиболее точно и конкретно измеряются весом надгробия.

Тех Комстоков, среди которых вырос Гордон, отличали вялость, обшарпанность, фамильная невзрачность. Им на удивление не хватало живучести. Дедуля тут постарался. К моменту его кончины дети стали взрослыми, а некоторые уже достигли средних лет, и все годы малейшие ростки их духа подавлялись. Он проехал по ним чугунным катком, и ни одна расплющенная личность никогда не смогла воспрянуть. Все как один – шеренга бесцветных безвольных неудачников. Никто из сыновей не преуспел в профессии, поскольку папенька с отменным упорством рассовал их по наименее подходящим поприщам. И лишь Джон (отец Гордона) расхрабрился – женился еще при жизни своего родителя. Нельзя было представить кого-то из отпрысков дедули Комстока сколько-нибудь значительным, созидающим либо разрушающим, очень счастливым или глубоко несчастным, полнокровно живущим или хотя бы солидно обеспеченным. Им

выпало только покорно прозябать, цепляясь за скудеющую респектабельность. Весьма типичное в срединно-средних слоях пришибленное семейство, где никогда ничего новенького не случается.

С ранних лет Гордона жутко тяготил тоскливый хоровод родни. Поначалу вокруг кружило довольно много дядюшек и тетушек, схожих линялой тусклостью, довольно хилых, вечно обеспокоенных деньгами, постоянно по этому поводу стенавших, однако, упаси Господи, без скандальных драм. Примечательно, что в них угас даже инстинкт продолжения рода. Люди по-настоящему жизнеспособные, есть деньги или нет, напористо и органично размножаются. Тот же дедуля Комсток, в своей семье двенадцатый ребенок, сам наплодил одиннадцать детей. Но все потомство этих одиннадцати свелось к двоим – Гордону и его сестре Джулии. Гордон, последний отпрыск Комстоков, незапланированно появился на свет в 1905-м, а потом за долгие тридцать лет в семействе ни единого рождения, лишь похороны. И не только свадеб или крестин, вообще ничего новенького не случалось. Все Комстоки, казалось, были обречены запуганно таиться по своим норкам. Абсолютное неумение как-либо действовать, ни грана храбрости куда-либо пробиться, хотя бы в автобус. Все, разумеется, безнадежные дурни насчет денег. По завещанию дедули нажитый им капитал был разделен более-менее равномерно, так что после продажи краснокирпичной крепости на каждого пришлось около пяти тысяч фунтов. И едва дорогой дедуля опочил, наследники принялись тратить. Смельчаков с шиком просадить свою долю на нечто вроде скачек или прекрасных дам, естественно, не нашлось; они просто по чуточке, по капельке выкидывали денежки на ветер. Дочери на безмозглые вложения, сыновья на какое-нибудь небольшое «свое дело», неизменно хиревшее и приносившее лишь потери. Более половины наследников дедули скончались, не изведав брачной жизни. После смерти отца для пары давно отцветших дочек нашлись мужья, сыновьям же ввиду неспособности заработать осталось пополнить ряды джентльменов, которые «не могут позволить себе жениться». Никто, кроме тети Энджелы, не обзавелся собственным жильем; жались по нанятым, богом забытым квартиркам или мрачным пансионам. И год за годом умирали от невнятных, зато съедавших последние пенни болезней. А тетю Шарлотту в 1916-м пришлось отправить в Клэйпхемский сумасшедший дом. Как переполнены в Англии эти дома скорби! И в основном за счет одиноких старых дев среднего сословия. К 1934 году из старших в живых оставались лишь трое: умалишенная тетя Шарлотта, тетя Энджела, которую в 1912 году нечаянно осенило купить домик и крошечную ренту, и дядя Уолтер, неуверенно существовавший на куцый остаток наследной доли, управлявший каким-то ничтожным «агентством».

Гордон рос в атмосфере подштопанной одежды и бараньих хрящей на ужин. Отец его, очередной забитый Комсток, ребенком проявлял, однако, некую сообразительность гуманитарного оттенка, а потому дедуля, заприметив тягу к чтению и ужас перед арифметикой, само собой, ткнул его изучать бухгалтерию. Так что он дипломированно (и весьма бездарно) занимался финансовым учетом и покупал акции распадавшихся через год компаний, наскребая шаткий годовой доход – то пять, то всего две сотни, с постоянной тенденцией к снижению. Умер он в 1922-м, совсем еще не старым, измученным многолетней болезнью почек.

Поскольку Комстоки являлись семейством хоть бедным, но благородным, нельзя было не выкинуть дикую сумму на «образование» Гордона. Страшная штука «образовательный» психоз! Это означает послать сына в приличную (то есть какую-никакую, но закрытую частную) школу, ради чего немало лет влачить существование, которым побрезговала бы и семья слесаря. Гордона отправили в никудышное претенциозное заведение, где год стоил около ста двадцати фунтов, хотя даже такая плата требовала от домашних бесконечных лишений. Джулию, старшую сестру, фактически оставили без образования (пару раз отдавали в захудалые школьные пансиончики; к шестнадцати годам сочли, что ей вполне достаточно). Гордон ведь «мальчик», и было так естественно пожертвовать «девочкой». Тем более что сына, как сразу решила родня, отличали «способности». Умный Гордон при его замечательных «способностях» достигнет вершин учености, блистательно себя проявит и вернет Комстокам удачу – тверже, восторженнее всех в это верила Джулия. Высокая, намного выше Гордона, нескладная, с худеньким личиком и явно длинноватой шеей гусенка, непременно появлявшегося в мыслях при взгляде на нее. Преданная наивная душа, предназначенная хлопотать по хозяйству, штопать, гладить, услуживать.

С юности отмеченная клеймом старой девы, Гордона она боготворила. Холила, баловала, носила старые тряпки, чтоб у него был приличный школьный костюмчик, копила весь год карманные полпенни, чтобы дарить ему подарки на Рождество и в день рождения. И разумеется, став взрослым, он отблагодарил сестру, эту дурнушку без «способностей», глубоким презрением.

Даже в его третьеразрядной школе почти все мальчики были богаче. Быстро проведав о бедности Гордона, соученики, как полагается, устроили ему хорошенькую жизнь. Нет, вероятно, большей жестокости к ребенку, чем отправить его в среду деток из значительно более богатых семейств. Никакому взрослому снобу не приснятся муки такого малыша. В школе, особенно

начальной, существование Гордона было сплошным напряженным притворством, постоянным усилием представить себя, свою родню не столь нищими. Ох, унижения тех лет! Например, тот кошмар, когда в начале каждого семестра требовалось публично «предъявлять» директору сумму карманных денег, и он показывал свою горстку монеток под хор издевательских смешков. А когда выяснилось, что костюмчик у него из магазина и всего за тридцать бобов! Но хуже всего было в родительские дни. Гордон, тогда еще набожный, горячо молился, чтобы к нему никто не приезжал. Особенно отец; как было не стыдиться такого – поникшего, бледного, как труп, очень сутулого, плохо, совсем не модно одетого? От него так и веяло тоской, беспокойством, неудачей. А он еще имел эту ужасную привычку, прощаясь, на глазах у школяров давать сыну полкроны – лишь полкроны вместо более-менее пристойного десятка бобов! И через двадцать лет Гордона при воспоминании о школе пронизывала дрожь.

Первым итогом всего этого стало, конечно, преклонение мальчика перед деньгами. Он просто возненавидел свою пристукнутую нищетой родню – отца, и мать, и Джулию, и остальных. Возненавидел за их мрачное жилье, дурное платье, вечные охи и вздохи над пенсами, за то, что в доме постоянно звучало «мы не можем себе этого позволить». О деньгах он мечтал с чисто детской неотвязностью. Почему невозможно хорошо одеваться, покупать конфеты и часто ходить в кино? Почему родители у него не такие, как у других ребят? Почему они бедняки? Потому что, делал вывод детский ум, они сами так захотели, им так нравится.

Однако он рос и становился – нет, не менее глупым, но глупым по-другому. В школе он постепенно освоился, угнетали его уже менее свирепо. Успехами не блистал (не занимался и от вершин учености был далек), тем не менее развивал мозги по некоторым полезным для статуса среди однокашников направлениям. Читая книги, которые с кафедры запрещал директор, высказывал неортодоксальные взгляды на англиканскую церковь, патриотизм и нерушимое школьное братство. Тогда же он начал сочинять стишки, чуть позже даже посылать их (неизменно отклоняемые) в «Атенэум», «Новый век» и «Вестминстерскую газету». Подобралась, конечно, компания подобных – каждая частная школа имеет кружок критически мыслящей интеллигенции. А в ту пору, сразу после войны, бунтарский дух так обуял Англию, что проник даже за ограды закрытых школ. Молодые, включая самых зеленых юнцов, до крайности взъярились на старших; любой хоть как-то шевеливший мозгами вмиг сделался мятежником. Стариканы ошеломленно забили крыльями, закудахтали о «подрывных идеях». Гордон с дружками пришли от «подрывных идей» в восторг.

Целый год выпускали, размножая на копировальном аппарате, подпольную ежемесячную газету «Большевик», где восхваляли социализм и свободную любовь, призывали к распаду Британской империи, упразднению армии и т. п. Повеселились от души. Каждый начитанный подросток в шестнадцать лет социалист. В этом возрасте крючок в приманке не заметить.

Лихо пустившись рассуждать насчет бизнеса, юный Гордон рано ухватил, что суть всей современной коммерции – надувательство. Забавно, что навели его на эту мысль расклеенные в подземке рекламы. Думал ли он, как выражаются биографы, что придет время и он сам станет служащим рекламной фирмы. Бизнес, однако, оказался не просто жульничеством, поставленным на деловую основу. Ясно увиделось безумное поклонение деньгам, настоящий культ. Ставший, возможно, ныне единственной – согретой живым чувством – религией. Занявший престол господний новейший Бизнес-бог, а также финансовый успех или провал вместо библейских добра и зла и, соответственно, иной наказ о долге человеческом. Никаких десяти заповедей, лишь два приказа: жрецам и пастырям – «Твори деньги!», а пастве прислужников и рабов – «Страшись потерять свою работу!» Примерно в это время Гордон наткнулся на книжку «Добродетельные голодранцы»[8 - Роман Роберта Тресселла (1870–1911).], историю про плотника, заложившего все, кроме фикуса, и фикус стал для него символом. Вовсе не белая роза, фикус – цветок Англии! Фикус надо поместить на герб Британии вместо льва и единорога. Никакой революции не будет, пока торчат в окошках эти фикусы.

Ненависть и презрение к родне стихли; во всяком случае, уменьшились. Они все еще очень его тяготили – ветшавшие, вымиравшие дядюшки и тетушки, вконец изболевшийся отец, «слабенькая» (с легкими у нее был непорядок) мать, уже совершеннолетняя, по-прежнему хлопотавшая от зари до зари, по-прежнему не имевшая ни одного красивого платья Джулия. Но теперь он все про них понимал. Не в том дело, что денег мало; главное – даже обеднев, они цепляются за мир, где деньги – добродетель, а бедность порочна. Их, неудачников, уверовавших в кодекс денег, губит сознание непристойности нищеты. Им даже не приходит в голову мысль плюнуть да просто жить, как – и насколько правильно! – живут низшие классы. Шапки долой перед фабричным парнем, что с пятаком в кармане женится на своей милашке! У него-то хоть в жилах кровь, а не цифры доходов и расходов.

Так размышлял юный наивный эгоист. В жизни, решил он, только два пути: либо к богатству, либо прочь от него. Иметь деньги или отвергнуть их, только не эта

гиблая трясина, когда на деньги молишься, но не умеешь их добыть. Лично для себя Гордон выбрал принципиальный отказ. Может, вышло бы по-другому, имей он больше склонности к счетным наукам: преподаватели вдолбили, что разгильдяю вряд ли удастся «преуспеть». Ну и ладно! Отлично! Он, напротив, целью поставит именно «не преуспеть». Лучше король в аду, чем раб на небесах, и лучше уж прислуживать чертям, чем херувимам. Итак, Гордон в шестнадцать лет понял, за что бороться – против Бизнес-бога и всего скотского служения деньгам. Он объявил войну; пока, конечно, тайную.

Через год умер отец, оставив лишь двести фунтов. Джулия к этому времени уже несколько лет служила: сначала в муниципальной конторе, затем, окончив кулинарные курсы, в гнуснейшем («дамском») чайном кафе у метро «Графский двор». Семьдесят два часа в неделю за двадцать пять шиллингов, из которых более половины она тратила на семейное хозяйство. Теперь, после смерти отца, разумнее всего было бы забрать Гордона из школы и отправить трудиться, а Джулии на двести фунтов обзавестись своим собственным кафе. Но обычная дурь Комстоков – ни Джулия, ни мать даже подумать не могли о прекращении учебы Гордона, со своим странным идеалистическим снобизмом готовые скорей отправиться в работный дом. Две сотни должны пойти на завершение «образования» сына. Гордон не возразил. Да, он объявил войну деньгам, но жуткого эгоизма от этого в нем не убавилось. Он, конечно, боялся пойти работать. Какой мальчик не оробел бы? Господи, строчить бумажки в какой-нибудь дыре! Дядюшки, тетушки уже вздыхали, обсуждая, как его устроить, и беспрестанно поминая «хорошие места». Ах, молодой Смит получил такое хорошее место в банке! Ах, молодой Джонс получил такое хорошее место в страховой компании!.. Похоже, они мечтали всех молодых англичан заколотить в гробы «хороших мест».

Между тем нужно было как-то добывать деньги. Мать, которая до замужества обучала музыке, а иной раз и потом, в моменты безденежья, брала учеников, решила возобновить это занятие. Найти учеников в Эктоне, их предместье, было нетрудно; платы за уроки и заработков Джулии хватило бы, вероятно, чтобы «справляться» пару лет. Только вот слабенькое здоровье миссис Комсток стало как-то совсем уж слабым. Ездивший к умиравшему мужу доктор, прослушав ее легкие, хмуро покачал головой и рекомендовал беречь себя, теплее одеваться, есть питательную пищу, а главное, не переутомляться. Нервозная возня с учениками тут подходила менее всего. Сын, правда, ничего об этом не знал. Но Джулия знала, и они с матерью таили от дорогого мальчика грустный диагноз.

Прошел год. Гордон провел его довольно безрадостно, все больше мрачнея из-за обтрепанных обшлагов и жалкой мелочи в кармане, что совершенно уничтожало его перед девушками. Однако в «Новом веке» тиснули его стишок. Мать пока за два шиллинга в час мучилась в промозглых гостиных на фортепианных табуретках. Но наконец Гордон кончил школу, и докучливо суетливый дядя Уолтер вызвался через одного делового приятеля своего делового приятеля попробовать устроить его на «хорошее место» – счетоводом в фирме кровельных красок. Роскошное место, блестящее начало! Юноше открывается возможность при надлежащем упорстве и прилежании подняться там со временем до самых солидных постов! Душа Гордона заныла. Как свойственно порой слабым натурам, он вдруг взбрыкнул и, к ужасу родни, наотрез отказался даже сходить представиться.

Поднялось суматошное смятение, Гордона не могли понять, отказ от шанса попасть на «хорошее место» ошеломил богохульством. Он повторял, что такую работу ему не нужно. Но какую же, какую? Ему хотелось бы писать, сердито буркнул Гордон. «Писать»? Но как же жить, чем зарабатывать? Ответа у него, конечно, не было. Имелась смутная, слишком абсурдная для оглашения идея как-нибудь существовать стихами. Во всяком случае, не приближаться к пляскам вокруг денег; работать, только уж не на «хорошеньких местечках». Никто, естественно, этих мечтаний не уразумел. Мать плакала, даже Джулия возражала, огорченно и укоризненно тормошились дядюшки, тетушки (их тогда еще оставалось с полдюжины). А через три дня случилось страшное несчастье. Посреди ужина мать сильно закашлялась, упала, прижав руки к груди, ничком, изо рта у нее хлынула кровь.

Гордон перепугался. Бессильную, на вид почти покойницу, мать отнесли наверх, и сын понесся за доктором. Неделю мать лежала при смерти; хождения к ученикам в любую непогоду и сквозняки сырых гостиных не прошли даром. Сидя дома, Гордон терзался кошмарным чувством вины (он все-таки подозревал, что матери пришлось буквально жизнью оплачивать последний год его учебы). Противиться стало невозможно, упрямец согласился просить место у производителей кровельной краски. Тогда дядя Уолтер поговорил с приятелем, а тот со своим, и Гордона отправили на собеседование к старому джентльмену со щелкавшей вставной челюстью, и тот взял его на испытательный срок. Гордон приступил, за двадцать пять шиллингов в неделю. И проработал там шесть лет.

Из зеленого Эктона семья переехала в угрюмый многоквартирный дом среди таких же кирпичных казарм за Пэддингтонским вокзалом. Перевезя свое

фортепиано, миссис Комсток, едва чуть-чуть окрепла, снова стала давать уроки. Жалованье сына слегка подросло, так что втроем они потихоньку «справлялись», хотя, главным образом, благодаря заработкам матери и сестры. Гордона занимали лишь его личные проблемы. В конторе он был не из худших, зарплату отрабатывал, однако общей жаждой успеха не пылал. Надо сказать, презрение к работе неким образом облегчало ему жизнь. Он бы не вынес жуткого конторского болота, если б не верил, что вырвется оттуда. Рано или поздно, так или этак сбежит на волю. В конце концов, у него есть «писательство». Когда-нибудь, наверно, получится жить собственным «пером». Ведь творчество свободно, ведь поэта не душит власть вонючих денег? От всех этих типчиков вокруг, особенно от стариканов, его корежило. Вот оно, поклонение Бизнес-богу! Корпеть, «гореть на работе», грезить о повышении, продать душу за домик с фикусом! Стать «достойным маленьким человеком», мелким подлипалой при галстуке и шляпе – в шесть пятнадцать домой, к ужину пирог с повидлом, полчасика симфонической музыки у радиоприемника и перед сном капельку законных плотских утех, если женушка «в настроении»! Нет, эта участь не для него. Прочь отсюда! прочь от денежной помойки! – воодушевлял он себя перед боем, лелея в душе тайный единоличный заговор. Народ в конторе не догадывался о соседстве такого радикала. Никто даже не подозревал, что он поэт (собственно, это было неудивительно, поскольку за шесть лет в печати появилось менее двадцати его стишков). С виду обычный клерк – солдатик безликой массы, которую качает у поручней метро, утром в Сити и вечером обратно.

Ему исполнилось двадцать четыре, когда умерла мать. Семейство рушилось. Из старших оставались тетя Энджела, тетя Шарлотта, дядя Уолтер и еще один дядюшка, вскоре скончавшийся. Гордон и Джулия разъехались по разным адресам: он в меблированные комнаты на Даунти-стрит (улицы Блумсбери как бы уже давали ощущение причастности к литературе), она в район «Графского двора», поближе к службе. Джулии теперь было тридцать, а выглядела она много старше. Здоровье ее пока не подводило, но она исхудала, в волосах появилась седина. Трудилась она все так же по двенадцать часов в сутки, недельное жалование за шесть лет повысилось на десять шиллингов; управительница чайного кафе, чрезвычайно благовоспитанная дама, вела себя скорее как друг, то есть выжимала все соки из «душеньки» и «дорогуши». Через три месяца после похорон матери Гордон внезапно уволился со службы. Так как причин ухода он, по счастью, не назвал, в фирме решили, что нашлось нечто получше, и выдали вполне приличные рекомендации. Но он насчет другого места не помышлял, ему хотелось сжечь мосты, а вот тогда, о! На свободу, глотнуть воздуха – воздуха, чистого от копоти вонючих денег. Не то чтобы он

сидел, дожидался смерти матери, однако смог расхрабриться лишь сейчас.

Конечно, остатки родни взволновались пуще прежнего. Составилось даже мнение о не совсем здравом рассудке Гордона. Множество раз он пытался объяснить, почему больше не отдаст себя в рабство «хорошему месту», и слышал только причитания «как же ты будешь жить? на что ты будешь жить?». На что? Он не желал всерьез об этом думать. Но, хотя сохранялись смутные мечты существовать на гонорары, хотя он уже был дружен с редактором «Антихриста» и Равелстон помимо публикации его стихов устраивал ему иногда газетные статьи, несмотря на чуть забрезживший в глухом тумане шанс литераторства, все-таки побудило бросить работу не желание «писать». Главным было отринуть мир денег. Впереди рисовалось нечто вроде бытия отшельника, живущего подобно птицам небесным. Забыв, что птичкам не надо оплачивать квартиру, виделась каморка голодного поэта, но как-то так, не слишком голодающего.

Следующие полгода стали крахом. Провалом, ужаснувшим Гордона, почти сломившим его дух. Довелось узнать, каково месяцами жить на хлебе с маргарином, пытаться «писать» с мыслями только о жратве, заложить гардероб, дрожа проползать мимо двери суровой хозяйки, которой уже четыре срока не платил. К тому же за эти полгода не удалось сочинить практически ничего. Первый результат, понял он, – нищета тебя растаптывает. Явилось чрезвычайно новое открытие того, что безденежье не спасает от денег, а как раз полностью им подчиняет, что без презренного, обожаемого средним классом «достатка» ты просто раб. Настал день, когда его после банального скандала турнули с квартиры. Трое суток он жил на улице. Было хреново. Затем, по совету парня, тоже ночевавшего на набережной, Гордон потопал в порт, чтобы возить оттуда к рынку тачки наваленной вихляющими грудами живой рыбы. С каждой тачки два пенса в руку и адская боль в дрожащих мускулах. При этом толпа безработных, так что сначала еще надо дождаться очереди; десяток пробегов от четырех до девяти утра считался большой удачей. Через пару дней силы иссякли. Что теперь? Он сдался. Оставалось лишь вернуться, занять у родни денег и снова искать место.

Места, разумеется, не обнаружилось. Пришлось сесть на шею родственникам. Джулия содержала его до последнего пенни своих мизерных сбережений. Кишки сводило от стыда.

Красиво обернулся вызов надменных поз! Отверг деньги, вышел на смертный бой с миром наживы, и вот – приживальщик у сестры! И Джулия, печально тратя последние гроши, переживает больше всего его неудачу. Она так верила в него, единственного Комстока, который добьется успеха. Даже сейчас верит, что он – с его «способностями»! – сможет, если захочет, разбогатеть и всех их осчастливить. Целых два месяца Гордон прожил в Хайгете, в крохотном домишке тети Энджелы (старенькой, иссохшей тети Энджелы, которой самой едва хватало прокормиться). На сей раз он отчаянно искал работу, но дядя Уолтер уже не способен был помочь: его деловые связи, и прежде невеликие, свелись к нулю. Однако вдруг нежданно повезло – через кого-то, дружившего с кем-то, кто дружил с братом дамы, «поработившей» Джулию, удалось получить место в отделе учета «Нового Альбиона».

«Новый Альбион» был одной из рекламных контор, которых после войны развелось как грибов или, вернее, плесени. Цепкая, пока еще небольшая фирма, хватавшая любой заказ. В частности, тут разработали популярные плакаты суперкалорийной овсянки и мгновенных кексов, хотя основным направлением являлась реклама шляпок и косметики в дамских журналах, а также всяческие мелкие анонсы воскресных газетенок, типа «Полосатые Пастилки снимут все женские недомогания», «Удача по Гороскопу профессора Раратонго», «Семь Секретов Венеры», «Невидимая Чудо-штопка», «Как на досуге заработать Пять Фунтов в неделю», «Кипарисовый Лосьон – красота волос без перхоти» и т. п. Имелся, разумеется, изрядный штат продвигавших коммерцию авторов и художников. Гордон здесь познакомился с Розмари. Заговорил он с ней не сразу. Работавшая в «студии», где изобретали журнальную рекламу, она для него долго оставалась лишь проворно мелькавшей фигуркой, очень привлекательной, но пугающей. Когда они встречались в коридорах, она посматривала с ироничным прищуром и будто слегка насмехаясь, однако же, казалось, чуть-чуть задерживала взгляд. Он, простой клерк из бухгалтерии, не имел отношения к ее творческим сферам.

Стиль работы «Альбиона» отличал дух острейшей современности. Любой тут знал, что суть рекламы – наглый торгашеский обман. В фирме кровельной краски еще держались неких понятий коммерческой чести, в «Альбионе» только похохотали бы над этой чушью. Здесь царил чисто американский подход – ничего святого, кроме денег; трудились, исповедуя принцип: публика – свинья, реклама – грохот мешалки в свином корыте. Такой вот искушенный цинизм, в сочетании с самым наивным, суеверным трепетом перед Бизнес-богом. Гордон скромно приглядывался. Как и раньше, работал без особого пыла, позволяя коллегам взирать на него сверху вниз. В мечтах ничего не изменилось (когда-

нибудь он все равно дернет отсюда!), даже после кошмарного фиаско идея бегства не погасла, он лишь присутствовал. Повадки сослуживцев – прилежно ползавших традиционных вечных гусениц или же по-американски бойко, перспективно копошившихся личинок – его скорее забавляли. Интересно было наблюдать холуйские рефлексы, функционирование пугливых рабских мозгов.

Однажды случилось маленькое происшествие. Наткнувшись в журнале на стихотворение Гордона, некто из счетного отдела весело объявил, что «среди нас завелся поэт». Гордону удалось почти натурально посмеяться вместе со всеми. Его после того прозвали «бардом», причем звучало это снисходительно: подтвердилось коллективное мнение насчет Гордона – парню, маравшему стишки, уж точно «не прорваться». Эпизод, однако, имел последствия. Коллегам уже надоело подтрунивать над Гордоном, когда его вдруг вызвал доселе едва знавший о нем главный менеджер, мистер Эрскин.

Грузная неуклюжая стать, широкий румянец и медлительная речь мистера Эрскина позволяли предположить некую его связь с полеводством или животноводством. В мыслях столь же неспешный, сколь в движениях, он был отнюдь не из тех, кто хватает на лету, и лишь демонам бизнеса ведомо, как его занесло в кресло руководителя рекламного агентства. Тем не менее личностью он являлся довольно симпатичной, без характерной для дельцов чванливой спеси и с тугодумием весьма приятного сорта. В общие суждения и предубеждения не вникал, человека оценивал непосредственно, а следовательно, умел подбирать кадры. Новость о клерке, писавшем стихи, его в отличие от прочих не шокировала, даже заинтересовала – «Альбион» нуждался в литературных дарованиях. Глядя куда-то вбок из-под тяжелых век, мистер Эрскин задал Гордону множество вопросов, хотя беседовал лишь с собственным задумчиво гудевшим хмыканьем: «Стихи, стало быть, пишете? Так, хм-м. И как, печатают, а? Хм-м. И что, платят за это самое? Не густо, а? Не густо, хм-м. А тоже свои закавыки, а? Строчки в одну длину равняй и все такое. Хм-м. Еще что-нибудь сочиняете, истории разные, а? Хм, интересно. Хм-м!»

На этом интервью закончилось. Гордону был определен специальный пост секретаря (фактически – подмастерья) мистера Клу, главного штатного литератора. Во всякой рекламной конторе постоянный дефицит текстовиков с толикой воображения. Как ни странно, гораздо проще найти хватких рисовальщиков, чем авторов, способных придумать слоган типа «Экспресс-соус на радость муженьку» или «Детишки утром требуют хрустяшек». Зарплату пока не прибавили, но фирма присматривалась. Открывалась возможность, проявив

себя, за год перейти в творческий штат. Вернейший шанс «выбиться в люди».

Полгода Гордон трудился в душном кабинетике, увешанном плакатными триумфами мистера Клу, сорокалетнего сочинителя со стоящей дыбом шевелюрой, куда частенько запускались беспокойные нервные пальцы. Дружески опекавший патрон, объяснив ходы, предложил без стеснения высказывать свои идеи. В момент поступления новичка разрабатывалась серия журнальных анонсов дезодоранта «Апрельская роса» (сенсационной косметической новинки от той самой «Царицы гигиены и красоты», где подвизался Флаксман), и тайная ненависть Гордона к его службе подверглась неожиданному испытанию. Выяснилось, что у него замечательный, просто врожденный талант к рекламным текстам. Почти не задумываясь, он кидал эти броские, вцеплявшиеся и въедавшиеся, фразы – нарядные пакетики для лжи. Дар слова у него всегда был, но впервые имел явный успех. Мистеру Клу виделось для помощника большое будущее. Сам Гордон смотрел на себя с удивлением, юмором, а затем с тревогой – вон куда занесло! Ловко врать, чтобы трясти монету из болванов! Какая скотская ирония – мечтая стать «поэтом», вытянуть-таки счастливый билетик в сочинении гимнов дезодоранту! Впрочем, ситуация была весьма рядовой. Большинство штатных текстовиков, по слухам, из неудавшихся писателей, да и откуда же им браться?

«Царицу гигиены» весьма порадовал дезодорантовый анонс. Мистера Эрскина тоже. Недельное жалованье автору текста повысили на десять шиллингов. Гордона прошиб настоящий ужас. Деньги в конце концов захапали его. Его несет в самую пакость, еще чуть-чуть – и он по уши влипнет в ароматный поросячий навоз. Странно все это происходит: восстаешь против успеха, клянешься никогда «не пробиваться», честно полагая, что и захочешь, так не сможешь, а затем случай, просто некий случайный поворот, и почти автоматом ты «пробиваешься». Он понял – сейчас или никогда. Бежать немедленно! Уносить ноги, пока не засосало.

Только теперь Гордон не собирался смиренно дохнуть с голода. Пошел к Равелстону и попросил помочь. Сказал, что нужна работа, не «хорошее место», а такое, где тело нанимают без претензий заодно целиком прикупить душу. Друг все понял, отлично уловив разницу между «местом» и «хорошим местом»; к тому же не корил за безумие. У Равелстона было великое свойство – умение взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. Деньги, конечно, способствовали: богач мог себе позволить свободу разума и духа. Более того, богач со связями имел возможность находить другим заработок. Уже через пару недель

Равелстон сообщил Гордону, что, пожалуй, кое-что есть. Знакомому книготорговцу, одряхлевшему Маккечни, требуется помощник. Не опытный специалист на полный оклад, а просто человек с приличными манерами, способный толково представлять клиентам книжный товар. Рабочий день длинный, оплата мизерная (два фунта в неделю), повышение не светит, перспектив никаких. Бесперспективно – это было самое то. Поспешив к мистеру Маккечни, сонному старому шотландцу с красным носом и белой бородой в табачных пятнах, Гордон без колебаний согласился. И как раз в это время был напечатан сборник его стихотворений «Мыши». Седьмой издатель из тех, кому он предлагал рукопись, решился опубликовать ее. И это тоже было делом рук хорошо знакомого с издателем Равелстона, который втихомолку постоянно устраивал дебюты неизвестным поэтам. Гордон не знал, думал, что распахнулись двери в будущее, что сам он наконец состоялся, победно не

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Оруэлл саркастически переиначивает гл. 13 Первого послания к Коринфянам, заменяя в тексте слово «любовь» на слово «деньги». – Здесь и далее примеч. пер.

2

Дэлл, Этель (1881–1933) – английская писательница, автор популярной («дамской») беллетристики.

3

Дипинг, Уорвик (1877–1950) – английский писатель, автор приключенческих и детективных романов.

4

Уолпол, Хью (1884–1941) – английский писатель натуралистической школы.

5

«Год жизни шел тогда тридцатый» (фр.). Начальная строка поэмы Франсуа Вийона «Большое завещание».

6

То – Скука! – Облаком своей houka одета,

Она, тоскуя, ждет, чтоб эшафот возник.

Ш. Бодлер. Цветы зла. (Перевод Эллиса.)

7

Барри, Джеймс Мэтью (1860–1937), шотландский писатель, автор сказочной повести «Питер Пэн».

8

Роман Роберта Тресселла (1870–1911).

Купить: https://tellnovel.com/dzhordzh-oruell/da-zdravstvuet-fikus-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити